

О правде и правдоподобию в искусстве. Иоганн Вольфганг Гёте

На сцене одного немецкого театра изображалась овальная, имеющая форму амфитеатра зала, в ложах которой были нарисованы зрители, как бы принимавшие участие в том, что происходило внизу. Иные из подлинных зрителей в партере и в ложах были этим весьма недовольны и даже обиделись на то, что им намеревались навязать нечто столь неправдивое и неправдоподобное. По этому поводу возник разговор, приблизительное содержание которого и излагается здесь.

Защитник художника. Давайте-ка посмотрим, не удастся ли нам как-нибудь сговориться друг с другом.

Зритель. Не понимаю, каким образом вы собираетесь оправдать подобное изображение.

Защитник. Но ведь, не правда ли, когда вы идете в театр, вы не ожидаете, чтобы все разыгрывающееся на сцене было правдивым и настоящим?

Зритель. Нет! Но я стремлюсь, чтобы мне, по крайней мере, все казалось правдивым и настоящим.

Защитник. Простите, если я позволю себе, вопреки вашему признанию, утверждать, что вы ни в коем случае к этому не стремитесь.

Зритель. Вот странно! Если бы я не стремился к этому, то для чего были бы все усилия декоратора точнейшим образом следовать законам перспективы и тщательно воссоздавать все предметы? К чему было бы изучать костюмы разных эпох? К чему затрачивать огромные средства на то, чтобы сделать их достаточно выдержанными, разве не для того, чтобы перенести меня в те отдаленные времена? Почему больше всего прославляют того актера, который правдивее других передает чувства, который речью, движениями, жестом ближе подходит к действительности и создает иллюзию, будто я вижу не подражание, а нечто действительно происходящее?

Защитник. Вы отлично передаете свое восприятие, но достаточно ясно понять, что именно нами воспринимается, видимо, труднее, чем вы думаете. Смеем вас заверить, что все театральные представления отнюдь не кажутся вам правдивыми и разве что имеют видимость правдивого.

Зритель. Все эти тонкости в конце концов не более, как игра слов.

Защитник. А я возьму на себя смелость возразить вам, что, когда мы говорим о проявлениях нашего духа, никакие слова не могут оказаться достаточно нежными и тонкими и что даже сами каламбуры этого рода указывают лишь на известную потребность духа, который пытается, раз уж нам не удалось достаточно точно выразить то, что происходит в нас, оперировать контрастами и с разных сторон подходить к вопросу, чтобы таким образом добраться до сути дела.

Зритель. Хорошо! Только объяснитесь, пожалуйста, яснее и, если можно, наглядными примерами.

Защитник. Мне нетрудно будет обернуть их в свою пользу. Например, разве, бывая в опере, вы не ощущаете живого, полного удовольствия?

Зритель. Когда там все достаточно гармонично — одно из полнейших, какие мне известны.

Защитник. А когда эти милые люди на подмостках, встречаясь, приветствуют друг друга пением, поют письма, которые получают, пением выражают свою любовь, свою ненависть, все свои страсти, с пением дерутся и с пением же умирают, можете ли вы сказать, что весь спектакль, или хотя бы часть его, кажется вам правдивым? Или, позволю себе сказать, обладает хотя бы видимостью правдивого?

Зритель. А ведь действительно, когда подумаешь, то вряд ли можно это утверждать. Из всего перечисленного ничто не кажется мне правдивым.

Защитник. И все же вы при этом испытываете наслаждение и вполне довольны.

Зритель. Без сомнения. Я еще прекрасно помню, как когда-то оперу пытались осмеять за ее грубое неправдоподобие и как я, несмотря на это, посещая ее, всегда испытывал величайшее наслаждение и продолжаю испытывать его тем больше, чем богаче и совершеннее она становится.

Защитник. А не чувствуете ли вы себя и в опере введенным в заблуждение?

Зритель. В заблуждение? Это, по-моему, не то слово, — и да и нет!

Защитник. Но вы здесь впадаете в полнейшее противоречие, которое, пожалуй, похуже каламбура.

Зритель. Не горячитесь; мы с вами уж добьемся ясности.

Защитник. А добившись ее, придем к соглашению. Не разрешите ли задать вам несколько вопросов, чтобы сдвинуться с точки, на которой мы застряли?

Зритель. Это даже ваш долг, допрашивали меня до этой путаницы, так и выспрашивайте меня из нее обратно.

Защитник. Итак, то впечатление, которое создает опера, вы неохотно называете заблуждением?

Зритель. Неохотно, и все же это род его, нечто весьма к нему приближающееся.

Защитник. Не правда ли, вы почти забываете самого себя?

Зритель. Не почти, а совершенно, когда вся опера или хотя бы часть ее действительно прекрасны.

Защитник. Вы бываете восхищены?

Зритель. Со мной это случалось неоднократно.

Защитник. А не припомните ли вы, при каких именно обстоятельствах?

Зритель. Этих случаев было так много, что я затрудняюсь их перечислить.

Защитник. Но однажды вы уже ответили на такой вопрос: в первую очередь, конечно, когда все находится в известной гармонии.

Зритель. Без сомнения.

Защитник. И что же, это совершенное исполнение гармонирует само с собой или с каким-нибудь другим продуктом природы?

Зритель. Безусловно, само с собой.

Защитник. А гармония ведь дело искусства.

Зритель. Разумеется.

Защитник. Мы сейчас установили, что в опере не существует известного рода правды, что она изображает то, подражанием чему является, отнюдь не правдоподобно; но можем ли мы отрицать в ней внутреннюю правдивость, проистекающую от завершенности произведения искусства?

Зритель. Если опера хороша, то она, конечно, является как бы маленьким мирком для себя, в котором все совершается по известным законам и который требует, чтобы о нем судили по его собственным законам, ощущали бы его соответственно с его собственными качествами.

Защитник. А разве из этого не следует, что правдивое в искусстве и правдивое в природе не одно и то же и что художник ни в коем случае не должен, не вправе даже стремиться к тому, чтобы его произведение казалось новым произведением природы?

Зритель. Но оно так часто кажется нам произведением природы.

Защитник. Не смею отрицать. Но могу ли я об этом высказаться откровенно?

Зритель. Почему бы и нет? Ведь сейчас мы меньше всего занимаемся славословиями.

Защитник. Тогда я позволю себе сказать: только совсем невежественному зрителю произведение искусства может показаться произведением природы, но ведь и такой зритель дорог и люб художнику. К сожалению, правда, только до тех пор, пока художник к нему снисходит, ибо тот никогда не сумеет подняться ввысь вместе с подлинным художником, когда он воспарит по воле гения и завершит свое произведение во всем его объеме.

Зритель. Хоть и странно звучит, но занятно послушать.

Защитник. Вы бы неохотно все это слушали, если бы сами не достигли уже более высокой ступени.

Зритель. Дайте же теперь мне занять место вопрошающего и попробовать упорядочить все то, что мы обсудили.

Защитник. Милости прошу.

Зритель. Вы говорите, что только невежде произведение искусства может показаться произведением природы?

Защитник. Разумеется, вспомните о птицах, которые слетались к вишням великого мастера.

Зритель. А разве это не доказывает, что они были превосходно написаны?

Защитник. Отнюдь нет, скорее это доказывает, что любители были настоящими воробьями.

Зритель. И все же я не могу не назвать такое произведение превосходным.

Защитник. Рассказать вам один анекдот поновее?

Зритель. Я слушаю анекдоты охотнее, чем резонерствование.

Защитник. Один великий естествоиспытатель держал среди других домашних зверей обезьяну, которая однажды исчезла. Лишь после долгих поисков ему удалось обнаружить ее в библиотеке. Обезьяна сидела на полу, разбросав вокруг себя гравюры из одного непереплетенного естественноисторического труда. Пораженный этим рвением к науке, хозяин приблизился и, к вящему своему удивлению и досаде, увидел, что лакомка выкусила всех жуков, которые были изображены на картинках.

Зритель. Анекдотец довольно забавный.

Защитник. И подходящий к случаю, я надеюсь? Не поставите же вы эти раскрашенные картинки вровень с произведениями великого мастера?

Зритель. С трудом!

Защитник. А обезьяну не задумаетесь причислить к невежественным зрителям?

Зритель. Да и жадным к тому же. Вы навели меня на странную мысль! Не потому ли невежественный любитель требует от произведения натуральности, чтобы насладиться им на свой, часто грубый и пошлый лад?

Защитник. Я полностью придерживаюсь этого мнения.

Зритель. И потому утверждаете, что художник, работая на такие потребности, унижает себя?

Защитник. Это мое твердое убеждение!

Зритель. Но я еще продолжаю ощущать здесь какое-то противоречие. Вы только что оказали мне честь, причислив меня, по крайней мере, к полубразованным любителям.

Защитник. К любителям, которые стоят на пути к тому, чтобы сделаться знатоками.

Зритель. Но тогда скажите, почему же и мне совершенное произведение искусства кажется произведением природы?

Защитник. Потому что оно гармонирует с лучшими сторонами ваших природных данных, потому что оно сверхъестественно, но не вне естества. Совершенное произведение искусства — это произведение человеческого духа и в этом смысле произведение природы. Но так как в нем сведены воедино объекты, обычно рассеянные по миру, и даже все наиболее пошлое изображается в его подлинной значимости и достоинстве, то оно стоит над природой. Оно поддается восприятию только духа, зачатого и развившегося в гармонии, а тот, в свою очередь, находит в произведении нечто прекрасное, законченное в себе и вполне соответствующее его природе. Заурядный любитель не имеет об этом понятия и относится к произведению искусства как к вещи, продающейся на рынке, но подлинный любитель видит не только правду изображаемого, но также и превосходство художественного отбора, духовную ценность воссоединенного, надземность малого мирка искусства; он чувствует потребность возвыситься до художника, чтобы полностью насладиться произведением, чувствует, что должен покончить с рассеянной жизнью, зажить одной жизнью с произведением искусства, снова и снова созерцать его и тем самым вступить в более возвышенное существование.

Зритель. Отлично, мой друг, и мне знакомы ощущения, вызываемые картинами, театром, иными видами поэзии, и я чувствовал приблизительно то, что, по-вашему, должен чувствовать восприимчивый зритель. В будущем я стану еще внимательнее относиться и к себе, и к произведениям искусства; но, очнувшись, я вижу, как далеко мы ушли от того, что послужило толчком к нашей беседе. Вы хотели заставить меня принять этих намалеванных зрителей в нашей опере; но я и теперь не вижу, хотя и согласился с вами в остальном, каким образом вам удастся защитить еще и эту вольность и под какой рубрикой вы заставите меня признать уместными этих намалеванных участников спектакля.

Защитник. По счастью, опера будет повторена сегодня, и вы, вероятно, не захотите пропустить ее.

Зритель. Ни в коем случае.

Защитник. А намалеванные люди?

Зритель. Не отпугнут меня. Я не воробей.

Защитник. Мне остается пожелать, чтобы взаимный интерес в ближайшее же время снова свел нас.

Напечатано в «Прописях» в 1798 году.

... в ложах которого были нарисованы зрители... — Такого рода декорации появились в XVII в. и существовали на протяжении почти всего XVIII столетия; нередко они изображали толпу, воинов, битвы и т. п.

Защитник художника. Зритель. — Первый собеседник выражает мнение Гете, тогда как Зритель — сторонник «натуральности». Дополнением к статье может служить письмо Гете Шиллеру, написанное сразу после представления «Пальмиры», 14 августа 1797 г.: «В театре все явления должны быть привлекательны. Театральное строительное искусство должно быть легким, разукрашенным, разнообразным, и в то же время оно должно представлять великолепное, высокое, благородное. Декорации вообще должны создавать картину, в особенности же это относится к заднему плану сцены». В практике руководимого им Веймарского театра Гете следовал этим принципам.

А. Аникст